



Кони, кони...



I

Пламя свечи вместе с его отражением в высоком зеркале дважды отклонилось и выпрямилось — когда он отворил дверь, входя в холл, и когда закрыл ее за собою. Он снял шляпу и медленно двинулся вперед. Под сапогами заскрипели половицы. В темном зеркале, на фоне лилий, бледно склонившихся в хрустальной вазе с высоким узким горлом, возникла фигура в черном костюме. Сзади, по стенам холодного коридора, в скудном освещении поблескивали застекленные портреты предков, о которых он мало что знал. Он посмотрел на оплывший огарок, потрогал пальцем теплую восковую лужицу на дубовой поверхности, потом перевел взгляд на того, кто лежал в гробу. Странно съежившееся на фоне обивки лицо, пожелтевшие усы. Веки тонкие, словно бумага. Нет, никакой это не сон. Не сон это. Снаружи было холодно, темно и безветренно. Где-то в отдалении промывчал теленок.

При жизни ты так никогда не причесывался, сказал он.

В доме стояла мертвая тишина, если не считать тиканья каминных часов в гостиной. Он вышел, прикрыв за собой дверь.

Холодно, темно и безветренно, и лишь над восточным краем мира проступала серая полоса. Он шел и шел, пока не оказался в прерии, потом остановился со шляпой в руках, словно проситель, представший пред ликом тьмы, правящей миром. Стоял и стоял. Потом повернулся и зашагал обратно. Издали слышался слабый гул поезда, и он снова остановился в ожидании, а когда поезд приблизился, ощутил, как под ногами подрагивает земля. Поезд мчался с востока, словно удалой предвестник света, — летел рыча и завывая, и узкий луч прожектора вонзался во тьму, в мескитовые заросли, порождая в ночи бесконечную линию ограды вдоль рельсов, рождая и опять всасывая в себя

проволоку и столбы. Поезд продолжал свой бег, оставляя за собой шум, грохот и шлейф дыма, хорошо заметный на светлеющем небе. А он стоял, держал в руках шляпу и смотрел на состав, пока тот не растворился в ночи, пока не стихли последние отголоски шума и грохота, пока не перестала подрагивать земля. Тогда он надел шляпу, повернулся и зашагал назад.

Когда он вошел в кухню, она обернулась от плиты и оглядела его с головы до ног, заметив новый костюм.

Buenos días, guar¹.

Он повесил шляпу на крючок у двери, где висели дождевики, подседельные одеяльца-вальтрапы и разрозненные элементы конской упряжи, подошел к плите, налил себе кофе и направился с чашкой к столу. Она же, открыв дверцу духовки, вытащила противень с только что испеченными булочками, положила одну на тарелку, подошла к столу и поставила перед ним, не забыв захватить нож для масла. Легонько коснулась пальцами его затылка, потом вернулась к плите.

Спасибо, что зажгла свечу, сказал он.

¿Cómo?²

La candela. La vela³.

No fui yo⁴, возразила она.

¿La señora?⁵

Claro⁶.

¿Ya se levantó?⁷

Antes que yo⁸.

Он допил кофе. За окном занимался рассвет. К дому шел Артуро.

Отца он увидел на похоронах. Тот стоял от всех отдельно у ограды, на другой стороне дорожки, посыпанной гравием. Один раз зачем-то сходил к своей машине, но сразу вернулся.

¹ Добрый день, красавчик (*исп.*).

² Что? (*исп.*)

³ Свечу, говорю... Свечку (*исп.*).

⁴ Так это не я (*исп.*).

⁵ А кто — хозяйка? (*исп.*)

⁶ Естественно (*исп.*).

⁷ Она что, уже встала? (*исп.*)

⁸ Раньше меня (*исп.*).

С утра задул сильный ветер, и поднятая им пыль смешивалась с хлопьями снега. Женщины сидели, судорожно придерживая руками шляпки. Кладбищенские служители поставили навес, но от него было мало проку — ветер налетал то с одной, то с другой стороны и трещал брезентом, заглушая слова священника. Когда церемония закончилась и собравшиеся стали подниматься, ветер набросился на складные стулья, принялся гонять их по кладбищу, запуская ими в надгробья.

Под вечер он поседлал коня и двинулся на закат. Ветер дул уже не с таким остервенением, но было очень холодно, и багровый диск солнца превратился в овал, сплюснутый между грядой облаков и линией горизонта. Он ехал туда, где любил бывать, — к западной ветке старой тропы команчей, которая вела с севера, из округа Кайова, и проходила по западной оконечности их ранчо, удаляясь на юг, в прерии, между северным и средним рукавами Кончо-Ривер, причем ее очертания хоть и смутно, но до сих пор еще различались на низменной равнине. Он выбирал именно эти предзакатные часы: тени в это время делались длинными и старинная дорога возникала перед ним в зыбком свете умирающего дня, словно воспоминание о былом, когда с севера на своих раскрашенных лошадках выступали те, кто принадлежал к древнему исчезнувшему племени, — мужчины с набеленными лицами и длинными волосами, заплетенными в косицы, воины, оснащенные всем необходимым для войны, которая и была их жизнью, а с ними женщины и дети, и женщины с грудными детьми на руках, все отданные в залог ростовщику, который принимает в качестве выкупа кровь, и только кровь. Когда дул северный ветер, в его завываниях ему слышалось фырканье лошадей, глухой топот обернутых кожей копыт, постукивание копий и шорох повозок, будто по песку ползет гигантский змей; рядом мальчишки, лихо, словно наездники-циркачи, гарцуя на незаседланных конях, гнали перед собой табуны диких мустангов, за ними бежали собаки с высунутыми языками, а сзади брели полуголые невольники, сгибаясь под тяжелой поклажей, и над всем этим — походная песнь, которую пели всадники, продвигаясь вперед, и, внимая этому негромкому, но могучему хору, он думал о тех, кто странствует теперь по этой пустыне из мрака

во мрак. Он думал о народе, потерянном и для истории, и для живой памяти. Он думал о еще одном исчезнувшем Граале — о призрачной общности земных человеческих существований, неистовых и мимолетных.

Он ехал на закат, навстречу красному ветру, и низкое солнце покрывало его лицо слоем меди. Потом по все той же старинной военной тропе он свернул на юг и вскоре оказался на вершине небольшого холма. Спешился, бросил поводья, отошел от коня и застыл, словно человек, в жизни которого что-то кончилось.

Неподалеку, в кустах, валялся конский череп. Он подошел к тому, присел, взял в руки. Дожди и ветра отмыли и отскребли череп добела. Сидя на корточках, он рассматривал в свете уходящего дня находку, которая показалась ему хрупкой, будто чаша. Разглядывал шероховатые черепные пластины, их сочленения, трогал пальцами длинные шаткие зубы, — точь-в-точь такие, какими их рисуют в комиксах. Чуть поворачивая череп, слушал, как внутри пересыпается песок.

В лошадях ему нравилось то же, что и в людях. Бурный ток крови, разжигающий неугасимый пожар. Он любил и почитал пламенные сердца и ощущал в себе загадочный и неукротимый порыв. Он твердо знал: как бы ни сложилась его жизнь, он всегда будет повиноваться этому властному неумолчному зову.

Возвращался уже затемно. Конь прибавил ходу. За спиной, на равнине, угасали блики дня, растворявшегося в холодном мраке наступающей ночи. Из темных зарослей колючего кустарника доносились последние птичьи трели. Он еще раз пересек старинную военную тропу и повернул к дому, тогда как индейцы продолжали двигаться своей дорогой в той тьме, частью которой стали. Тихо постукивали первобытные орудия войны, звучала походная песнь, и отряды тянулись и тянулись по равнинам к югу, в вожденную Мексику.

Дом построили в тысяча восемьсот семьдесят втором году, и семьдесят лет спустя его дед стал первым, кто в нем умер. Всех прочих, кому случалось лежать в гробу в этом холле, доставляли в дом по-разному — кого на створке ворот, кого завернутым в брезент, а кого-то привозили в заколоченном сосновом ящике, и у крыльца переминался с ноги на ногу возница или шофер,

держа в руке квитанцию. Многие, впрочем, в этот холл так и не попадали, и об их кончине родственники узнавали из газеты, письма или телеграммы.

Поначалу ранчо занимало площадь две тысячи триста акров, составляя небольшую часть того, что в достопамятном частном договоре Мейзебаха с компанчами именовалось землями Фишера—Миллера. Первое жилище представляло собой хибару из одной комнаты, со стенами из обмазанного глиной плетня и крышей, положенной на жерди. Ее поставили в восемьсот шестьдесят шестом. В тот год через северную окраину ранчо по территории тогдашнего округа Бексар прогнали первое стадо к Форт-Самнеру и Денверу. Пять лет спустя его дед отправил по той же тропе стадо бычков в шестьсот голов и на вырученные деньги построил теперешний дом. К тому времени ранчо занимало площадь уже восемнадцать тысяч акров. В восемьдесят третьем году была установлена первая изгородь с колючей проволокой. К восемьдесят шестому исчезли бизоны. Той же зимой случился большой падеж скота. В восемьдесят девятом прекратил свое существование Форт-Кончо.

Его дед был старшим из восьми братьев. Остальные семеро поумирали, не дожив до двадцати пяти. Тонули в реках, сгорали в пожарах, погибали от пуль. Одного затоптали кони. Казалось, их пугало только одно — умереть в своей постели. Последние двое были застрелены в Пуэрто-Рико в девяносто восьмом. Весной того же года дед женился и привел на ранчо молодую супругу. Возможно, выходя из дома, порой он озирает свои владения и размышляет о неисповедимых путях Господних и непреложности первородства. Двенадцать лет спустя в эпидемию гриппа жена умерла, так и не оставив наследника. Через год он женился на ее старшей сестре, и еще через год у них родилась дочь — мать Джона-Грейди. Больше в этом доме никто не рождался. В день, когда буйный северный ветер гонял стулья по жухлой кладбищенской траве, в землю ушел последний из рода Грейди. Фамилия его внука была Коул. Джон-Грейди Коул.

Джон-Грейди встретил отца в вестибюле отеля «Святой Анджелус», и они двинулись по Чадборн-стрит. Войдя в кафе «Орел», они направились к угловой кабинке. При их появлении разгово-

ры за столиками стихли. Многие кивали отцу, а кто-то даже окликнул его по имени.

Официантка, которая называла всех лапочками, принимая заказ, немножко пококетничала с Джоном-Грейди. Отец вытащил из кармана пачку сигарет, достал одну, закурил, а пачку положил на стол, поставив рядом зажигалку «зиппо Третий Полк». Откинувшись на спинку стула, он курил и поглядывал на сына. Потом стал рассказывать, как его дядя Эд Элисон по окончании похорон подошел к священнику, чтобы пожать тому руку. Придерживая руками шляпы, они стояли на ветру, наклонившись вперед под углом тридцать градусов, словно комики на эстраде, а ветер хлопал брезентом навеса и гонял по траве складные стулья, за которыми бегали кладбищенские служители.

Чуть не касаясь носом щеки священника, Эд Элисон проорал ему в самое ухо, что, слава богу, погребение уже состоялось, а то еще немного, и разразится настоящая буря.

Отец беззвучно рассмеялся, потом закашлялся, отпил воды и, продолжая курить, покачал головой:

Один мой приятель — он из северного Техаса — рассказывал, что у них там однажды перестало дуть так неожиданно, аж куры все разом попадали!

Официантка принесла кофе.

Пейте, лапочки, сказала она. Сейчас будет остальное.

Она уехала в Сан-Антонио.

Не говори про нее «она».

Ну, мама...

Уехала, знаю.

Сидят, пьют кофе.

Что собираешься делать?

Насчет чего?

Ну, вообще.

Ее дело. Захотела — поехала.

Сын посмотрел на отца в упор:

Зря ты куришь.

Отец поджал губы, побарабанил пальцами по столу, взглянул на сына:

Когда я попрошу твоего совета, что мне делать, тогда ты поймешь, что стал взрослым.

Ясно, сэр.

Деньги нужны?

Нет.

Отец пристально посмотрел на сына:

Ничего, пробьешься.

Официантка принесла и поставила перед ними толстые фаянсовые тарелки — бифштексы с подливкой, к ним картошка и фасоль.

Отец заткнул салфетку за воротник рубашки.

Я ж не за себя беспокоюсь, сказал сын. Это хоть я могу тебе сказать?

Отец покосился на сына и, взяв нож и вилку, стал резать бифштекс.

Это можешь, кивнул он.

Официантка принесла корзинку с булочками, поставила на стол и удалилась. Они принялись за еду. Отец ел вяло. Вскоре он оттолкнул тарелку, вытащил из пачки еще одну сигарету, постучал ею по зажигалке, закурил.

Говори что вздумается. Господи, можешь даже пилить меня, что я много курю.

Сын промолчал.

Ты же знаешь. Я не этого хотел.

Конечно знаю.

Ты хорошо смотришь за Редбо?

Вообще на нем не езжу.

Давай в субботу попробуем?

Можно.

Если у тебя есть другие дела, то не надо...

Нет у меня никаких дел...

Отец курил, сын не спускал с него глаз.

Если не хочешь, не надо, сказал отец. Я серьезно...

Хочу.

Вы можете с Артуро сами собраться? А потом в городе меня подхватите, ладно?

Хорошо.

Во сколько?

Во сколько встанешь.

Встану как скажешь.

Заедем в восемь.

В восемь так в восемь.

Сын ел, отец недовольно озирался по сторонам, потом проворчал:

Прямо не знаю, есть тут у них кто живой или нет. Кофе не допросишься!

Джон-Грейди и Ролинс расседлали и отпустили коней в темноту, а сами улеглись на вальтрапах, положив под головы седла. Вечер выдался холодный и ясный, раскаленные искры от костра долетали до самых звезд. С шоссе слышался гул грузовиков, и в небе стояло зарево от огней города, что в пятнадцати милях к северу.

Что собираешься делать? — спросил Ролинс.

Не знаю... Ничего...

На что ты рассчитываешь? Он старше тебя на два года. И у него машина.

При чем тут он?

А она что говорит?

Ничего. Что она может сказать?

Так чего же ты ждешь?

Ничего.

В субботу в город поедешь?

Нет.

Ролинс вынул из нагрудного кармана сигарету, выкатил из костра уголек, прикурил. Сидит, курит.

Я бы не стал плясать под ее дудку, сказал он.

Джон-Грейди промолчал. Ролинс стряхнул пепел о каблук:

Плюнь ты на нее. Все бабы одинаковы.

Джон-Грейди отозвался не сразу.

В том-то и дело, сказал он.

Вернувшись домой, Джон-Грейди вычистил коня, поставил в денник и пошел на кухню. Луиса уже легла, в доме стояла тишина. Он пощупал кофейник. Взял из сушилки чашку, налил себе кофе, с чашкой вышел в коридор.

В дедовом кабинете подошел к столу, включил настольную лампу, сел в старое дубовое кресло. На столе подставка с медным календариком, переворачивающимся на оси. Перевернешь — меняется число. Пока на нем значилось тринадцатое сентября. Еще на столе была пепельница, стеклянное пресс-папье, фирменная амбарная книга компании «Палмер фид энд саплай» и фотография матери Джона-Грейди на выпускном вечере. Фотография была в серебряной рамке.

В комнате стоял въевшийся запах сигарного дыма. Джон-Грейди протянул руку к лампе, выключил, остался в темноте. За окном тянулась, уходя на север, залитая звездным светом прерия. На фоне созвездий темнели крестики старых телеграфных столбов. Дед рассказывал, что в прежние времена команчи резали провода и для маскировки соединяли концы конским волосом. Джон-Грейди откинулся на спинку кресла, положил скрещенные ноги на стол. Далеко на севере, милях в сорока, полыхали зарницы. Часы в гостиной проббили одиннадцать.

По лестнице спустилась мать и появилась в дверях кабинета. Включила верхний свет и неподвижно застыла, стоит в халате, сложив руки на груди и обхватив локти пальцами. Джон-Грейди обернулся, а потом снова уставился в окно.

Что ты тут делаешь?

Сижу.

Мать стояла очень долго, потом повернулась, вышла и стала подниматься к себе наверх. Услышав, как закрылась дверь ее комнаты, Джон-Грейди встал, выключил верхний свет и снова опустился в кресло.

Изредка еще выдавались последние теплые деньки, и тогда Джон-Грейди с отцом усаживались на белые плетеные стулья в отцовском номере и распахивали окно настежь. Сквозняк задувал тюлевые занавески в комнату, а они сидят себе, пьют кофе. Иногда отец подливал себе в чашку немного виски. Прихлебывая сдобренный алкоголем кофе, он курил и смотрел на улицу, где вдоль тротуара длинной вереницей выстроились джипы геологов, ищущих нефть, придавая мирному городу сходство с зоной военных действий.

Если бы у тебя были деньги, ты бы купил ранчо?
У меня были деньги, но я его не купил.
Это после войны? Когда тебе заплатили за армию?
Нет... У меня бывали деньги и потом.
А сколько ты выигрывал? Какой твой рекорд?
Тебе незачем это знать. Азартные игры — дурная привычка.
Может, как-нибудь сыграем в шахматы?
На шахматы у меня теперь не хватает терпения.
Зато на покер у тебя терпения хватало.
Покер другое дело.
В чем же разница?
В деньгах, вот в чем.
Посидели молча.

Земля в этих краях еще в цене, снова заговорил отец. В прошлом году открыли крупную скважину. Компания «Ай-Си-Кларк».

Он отхлебнул кофе, потом взял пачку сигарет, закурил, посмотрел на сына и снова перевел взгляд на улицу. Помолчав, он сказал:

В тот раз я выиграл двадцать шесть тысяч долларов. Играл двадцать два часа кряду. На последней сдаче в банке скопилось четыре тысячи, а играли трое. Я и двое из Хьюстона. Я выиграл, имея на руках три дамы.

Он снова посмотрел на сына. Тот сидел, поднеся чашку ко рту. Рука его застыла в воздухе. Отец отвернулся и посмотрел в окно.

От всех этих тысяч у меня не осталось ни гроша, сказал он.

А мне-то, по-твоему, что делать?

Не думаю, чтобы ты что-нибудь мог сделать.

А ты не можешь с ней поговорить?

Да я вообще с ней говорить не могу.

Раньше-то мог.

Последний раз мы с ней поговорили в Сан-Диего, Калифорния, в сорок втором году. Ее винить тоже не стоит. Я стал не тот, что прежде. Как это ни печально.

Внешне, может, и не тот. А в душе такой же...

Отец закашлялся. Потом отпил из чашки.

Ага. В душе!..

Они долго сидели, не проронив ни слова.

Она играет в каком-то театре...

Это я знаю.

Сын поднял с пола шляпу и положил на колени.

Мне, пожалуй, пора...

Мне очень нравился ее старик. А тебе?

И мне нравился, ответил сын, отвернувшись к окну.

Не надо плакаться мне в жилетку...

А я и не плачусь.

Вот и не надо.

Он не сдавался, сказал Джон-Грейди, и всегда твердил, что надо держаться до конца. Говорил, что похороны стоит устраивать, если есть что хоронить, будь это хоть жетон с личным номером. Джон-Грейди помолчал. Они собираются раздать твою одежду, добавил он.

На здоровье. На мне все равно теперь все болтается. Разве что обувь...

Он-то всегда считал, что вы опять сойдетесь.

Знаю.

Джон-Грейди встал, надел шляпу:

Ладно, надо мне ехать...

А из-за нее он мог и подраться. Даже когда старик уже был. Чуть кто-нибудь про нее что-нибудь не так скажет... Если при нем, конечно. Лез не всегда даже и по делу.

Ладно, поеду я.

Что ж...

Отец скинул ноги с подоконника на пол:

Я провожу тебя. Хочу купить газету.

Они стояли в вестибюле, где пол выложен кафелем. Отец просматривал газетные заголовки.

Как это? Неужто Ширли Темпл разводится?!

Джон-Грейди посмотрел в окно. Опускались ранние зимние сумерки.

Пойти подстричься, что ли... — сказал отец сам себе. Потом перевел взгляд на сына. Я понимаю, что у тебя на душе. Со мной такое бывало...

Сын кивнул. Отец еще раз взглянул на газету и стал ее складывать.

В Писании сказано, что кроткие унаследуют землю, и, наверное, так оно и есть. Я, конечно, не атеист, но если честно, то я сильно сомневаюсь, что унаследовать землю — такое уж великое счастье...

Он посмотрел на сына, потом вынул из кармана пиджака ключ и протянул ему:

Поднимись в номер. В шкафу найдешь кое-что для себя.

А что там?

Подарок. Хотел дожидаться Рождества, но все время на него наткаться осточертело. Забирай.

Ладно.

Тебе сейчас нужно отвлечься... Спустишься, оставишь ключ у дежурного.

Ладно.

До скорого.

Пока.

Джон-Грейди поднялся в лифте, прошел по коридору к номеру, отпер дверь, вошел. Открыл стенной шкаф. На полу, рядом с двумя парами ботинок и грудой грязных рубашек, красовалось новенькое ковбойское седло «Хэмли-формфиттер». Он поднял его за рожок, закрыл дверцу шкафа, потом взгромоздил седло на кровать и застыл, не сводя с него глаз.

Черт побери! — вслух произнес он.

Джон-Грейди оставил ключ у дежурного и с седлом на плече вышел на улицу. Дойдя до Саут-Кончо-стрит, остановился, положил седло на землю у ног. Стемнело, горели уличные фонари. Первая же машина шла в его сторону. Это был старенький фордовский грузовичок «модель А». Несмотря на отсутствие гидравлики, грузовик тормознул так резко, что даже вильнул задом, водитель приопустил стекло,дохнул на Джона-Грейди перегаром:

Бросай, ковбой, свою красотку в кузов и садись.

Джон-Грейди так и сделал.

Всю следующую неделю шли дожди. Потом немного прояснилось, но ненадолго. С серого неба на застывшие равнины снова обрушились потоки воды. Залило мост у Кривовала, и дви-

жение по шоссе оказалось прерванным на неопределенное время. В Сан-Антонио тоже залило все, что только можно было залить. Джон-Грейди надел на себя дедов дождевик, заседлал Редбо и поехал на пастбище у Алисии, где южная часть ограды оказалась под водой. Стадо сгрудилось на незатопленном островке. Коровы грустно взирали на коня и человека. Редбо, в свою очередь, недовольно поглядывал на коров.

Что поделатъ, дружище. Мне это все самому не нравится, сказал Джон-Грейди, коснувшись каблуками его боков.

Пока матери не было, Джон-Грейди, Луиса и Артуро ели на кухне. По вечерам, поужинав, Джон-Грейди часто выходил на шоссе, ловил попутку и, оказавшись в городе, бродил по улицам. Иногда он доходил до Борегар-стрит, останавливался напротив гостиницы и смотрел на окно четвертого этажа, где за прозрачной занавеской время от времени мелькал силуэт отца, перемещавшийся туда-сюда в освещенном прямоугольнике, словно медведь в тире, только медленнее и так, словно это причиняло ему страдания.

Вернулась мать, и Джон-Грейди снова стал есть в столовой. Мать и сын сидели на противоположных концах длинного стола, а Луиса хлопотала, подавала еду. Унося последние тарелки, она обернулась у двери:

*¿Algo más, señora?*¹

*No, Luisa. Gracias*².

*Buenas noches, señora*³.

Buenas noches.

Дверь за Луисой закрылась. Тикали часы. Джон-Грейди поднял голову:

Мам, почему бы тебе не сдать мне ферму в аренду?

Тебе? В аренду?

Да.

Кажется, я уже говорила, что не хочу это обсуждать.

Но у меня появилось новое предложение.

Сильно сомневаюсь.

¹ Что-нибудь еще, сеньора? (исп.)

² Нет, Луиса, спасибо (исп.).

³ Спокойной ночи, сеньора (исп.).

Я отдам тебе все, что заработаю. А ты сможешь делать что хочешь.

Ты соображаешь, что несешь? Тут ничего не заработаешь. Эта ферма уже двадцать лет приносит одни убытки. После войны на ней не работал ни один белый. И вообще, тебе только шестнадцать. Ты не сможешь управлять фермой.

Смогу.

Чушь. Лучше учись.

Мать положила салфетку на стол и, отодвинув стул, встала и вышла из комнаты. Джон-Грейди оттолкнул чашку и выпрямился в кресле. На противоположной стене, над буфетом, висела картина с изображением лошадей. Там их было с полдюжины. Они перепрыгивали через ограду корраля с развевающимися гривами, бешено выпучив глаза. У них были длинные андалусские носы, а в очертаниях голов угадывалась кровь берберов. У передних лошадей были видны крупы, мощные и тяжелые. Возможно, это напоминала о себе линия Стилдаста. Но в остальном животные на картине не имели ничего общего с теми, кого он, Джон-Грейди, видел в жизни. Как-то раз он спросил деда, что это за лошади. Тот поднял голову от тарелки, посмотрел на картину так, словно видел ее впервые, и буркнул, что это все фантазии, после чего снова принялся за еду.

Джон-Грейди поднялся по лестнице на бельэтаж, отыскал дверь матового стекла, на которой дугой было начертано «Франклин», снял шляпу, взялся за ручку и вошел. За столом сидела секретарша.

Я к мистеру Франклину.

Вам назначено?

Нет, мэм, но он меня знает.

Как вас зовут?

Джон-Грейди Коул.

Минуточку.

Она вышла в соседнюю комнату, потом вернулась и кивнула.

Джон-Грейди встал и подошел к двери.

Входи, сынок, сказал адвокат Франклин, и он вошел. Садись.

Он сел.

Когда Джон-Грейди рассказал все, что хотел, адвокат откинулся в кресле и уставился в окно. Покачал головой. Перевел взгляд на Джона-Грейди и выложил руки перед собой.

Во-первых, начал он, я не имею права давать тебе советы. Это называется злоупотребление положением. Но я могу сказать тебе, что ферма — ее собственность и она вправе поступать с ней так, как сочтет нужным.

А я, значит, никто?

Ты несовершеннолетний.

А как насчет отца?

Сложный вопрос.

Франклин снова откинулся на спинку кресла.

Они ведь официально не разведены...

Разведены, друг мой, разведены.

Джон-Грейди вскинул голову.

Это уже подтвержденный факт и потому не является секретом. Развод оформлен документально.

Когда?

Все бумаги подписаны три недели назад.

Джон-Грейди опустил голову. Адвокат наблюдал за ним.

Все было решено окончательно еще до того, как умер старик.

Джон-Грейди кивнул:

Ясно.

Это грустно, сынок, но что делать... Уже ничего нельзя изменить.

А вы не могли бы поговорить с ней?

Уже говорил.

И что она сказала?

Какая разница? Главное, она не собирается менять решение.

Джон-Грейди кивнул. Он сидел, уставясь на свою шляпу.

Сынок, далеко не все свято верят в то, что жизнь на скотоводческом ранчо в Западном Техасе уступает разве что вознесению в райские кущи. Твоя мать не хочет жить на ферме, вот и все. Если бы это занятие приносило деньги, тогда, конечно, другой разговор. Но денег это не приносит.

Ранчо могло бы давать доход...

То ли да, то ли нет. Оставим этот спорный вопрос. Дело в том, что она еще молодая женщина и ей хотелось бы вести не столь замкнутый образ жизни, как прежде.

Ей тридцать шесть.

Адвокат откинулся на спинку вращающегося кресла. Слегка поворачиваясь в нем туда-сюда, провел указательным пальцем по нижней губе.

Он сам виноват. Безропотно подписал все бумаги, что сунули ему под нос. Даже не почесался, чтобы как-то защитить свои интересы. Господи, я говорил ему, чтобы он нанял адвоката. Черт, я просто умолял его!

Знаю.

Уэйн говорит, он перестал ходить к врачу.

Да... Спасибо, что уделили мне время, мистер Франклин, добавил он, помолчав.

Извини, что не могу сообщить тебе ничего более обнадеживающего. Но ты имеешь право обратиться к кому-нибудь еще...

Да ну, зачем...

Кстати, почему ты сегодня не в школе?

Я туда больше не хожу.

Понятно...

Джон-Грейди встал, надел шляпу:

Большое вам спасибо.

Не за что, отозвался Франклин, тоже вставая. Есть в нашей жизни вещи, против которых мы бессильны. Это, похоже, тот самый случай.

Похоже, сказал Джон-Грейди.

После Рождества мать в доме почти не появлялась. Джон-Грейди проводил время на кухне с Луисой и Артуро. Луиса не могла говорить о ранчо без слез, и потому они о ранчо не говорили. Тем более никто не решался сообщить о предстоящей его продаже Луисиной матери, которая жила тут с начала века. Потом наконец Артуро пришлось рассказать ей. Старуха его выслушала, кивнула и отвернулась.

Утром, на рассвете, Джон-Грейди надел куртку и вышел на шоссе. В руке у него был кожаный саквояж, в котором лежали чистая рубашка, пара носков, а также зубная щетка, бритва и помазок. Саквояж принадлежал его деду, а подбитая пледом куртка была отцовской. Ждал он недолго. Вскоре появился грузовик, который остановился, когда он поднял руку. Он сел, поставил саквояж на пол кабины и принялся греть озябшие кисти рук

между коленями. Водитель перегнулся через него, подергал дверь, потом, двинув длинным рычагом, включил первую скорость, и машина покатила дальше.

Дверца плохо закрывается. Тебе куда?

В Сан-Антонио.

Ну а я в Брейди. Так что не до конца, но подброшу.

Спасибо.

Торгуешь скотом?

Не понял.

Шофер кивнул в сторону саквояжа с ремнями и медными застегками:

Скотом, говорю, торгуешь? У них такие же.

Нет, просто другого нет.

А я подумал, не торгует ли парень скотом. И давно там стоял?

Да нет, пару минут.

Шофер показал правой рукой на приборную доску, где светился оранжевый диск:

Вон печка. Вот только греет так себе. Чувствуешь?

По-моему, греет. И неплохо.

Шофер махнул левой на серый зловецкий рассвет:

Видишь?

Угу.

Ненавижу зиму. Ума не приложу, какой от зим толк. А ты не из разговорчивых, верно?

Вроде бы нет.

Полезная черта.

Через два часа показался Брейди. Проехав через весь город, шофер высадил Джона-Грейди на противоположной окраине.

Во Фредриксбурге оставайся на Восемьдесят седьмом шоссе, а то, если попадешь на Девяносто второе, тебя за милую душу увезут в Остин. Понял?

Да. Большое спасибо.

Джон-Грейди захлопнул за собой дверцу, шофер махнул ему рукой, развернул грузовик и укатил. На шоссе показался еще один грузовик. Джон-Грейди проголосовал и, когда машина остановилась, залез в кабину.

Тебе куда? — спросил водитель.

Пока ехали по округу Сан-Саба, пошел снег. Снег шел и на плато Эдвардса, сек беленые стены домов в Балконесе. Джон-Грейди смотрел перед собой. Вовсю трудились дворники, вокруг играла метель. Края черного асфальтового полотна подернулись белым пушком, а мост через реку Педерналес обледенел. Ее зеленые воды медленно уползали вдаль мимо темных прибрежных деревьев. На мескитах вдоль шоссе повисли белые грозди, будто это акации в цвету. Шофер сидел за рулем чуть сторбившись, что-то тихо напевая себе под нос. В три часа они въехали в Сан-Антонио. Метель бесчинствовала с прежней силой. Джон-Грейди поблагодарил шофера, выбрался из кабины и пошел по улице. Увидев кафе, завернул в него, подошел к стойке, сел на табурет, а саквояж поставил на пол рядом. Взял с подставки меню, раскрыл его, перевел взгляд на часы на стене. Официантка поставила перед ним стакан воды.

Здесь время такое же, как и в Сан-Анджело?

Так и знала, что ты начнешь с дурацкими вопросами приставать! По тебе это сразу видно.

Так как все-таки насчет времени?

А я почему знаю? В жизни не бывала в Сан-Анджело. Есть что-нибудь будешь?

Дайте мне, пожалуйста, чизбургер и шоколадный коктейль.

Ты на родео приехал?

Нет.

Время тут такое же, сказал мужчина, одиноко сидевший у другого конца стойки.

Джон-Грейди поблагодарил его, а тот повторил еще раз, что да, мол, время тут такое же.

Официантка записала заказ Джона-Грейди в блокнотик и удалилась.

Раз приехал, значит надо, себе под нос пробормотал Джон-Грейди.

Он бродил по городу под снегопадом. Стемнело рано. Постоял на мосту Коммерс-стрит, глядя, как снег падает в темную воду и бесследно в ней растворяется. Припаркованные машины обзавелись белыми шапками. С наступлением темноты движение транспорта почти полностью прекратилось. Только изредка, на снегу почти не шурша шинами, проезжало такси или грузовик

с включенными фарами, свет от которых еле-еле пробивал белую пелену. Отыскав на Мартин-стрит отделение Уай-Эм-Си-Эй, Джон-Грейди снял номер за два доллара. Поднялся на второй этаж, вошел в номер, стащил сапоги, поставил их сушиться к батарее, потом снял и развесил носки, бросил куртку на стул, а сам растянулся на кровати, накрыв лицо шляпой.

Без десяти восемь он стоял у театральной кассы в чистой рубашке и с деньгами в кулаке. За доллар двадцать пять центов приобрел билет в третьем ряду балкона. Девушка-кассишша уверила его, что оттуда все отлично видно.

Он поблагодарил ее, отдал билет капельдинеру, который проводил его до устланной ковром лестницы и вернул билет. Джон-Грейди поднялся наверх, отыскал свое место и сел, положив шляпу на колени. Театр был заполнен наполовину. Когда огни стали гаснуть, его соседи начали вставать и перебираться в партер. Тут подняли занавес, на сцене появилась его мать и заговорила с женщиной, сидевшей в кресле.

В антракте Джон-Грейди надел шляпу и спустился в фойе. Спрятавшись в нише с позолоченными стенами, он свернул сигарету, а потом долго стоял, упершись в стену подошвой, и курил, а проходившие мимо зрители поглядывали на него с удивлением. Одну штанину он подвернул и время от времени стряхивал мягкий светлый пепел в углубление получившейся манжеты. Замечая мужчин в таких же, как у него, шляпах, Джон-Грейди молча кивал им, а они ему. Затем свет в фойе померк, и Джон-Грейди вернулся в зал.

Он сидел, поставив локти на спинку переднего кресла и подперев подбородок кулаками, и сосредоточенно следил за происходящим на сцене, в душе надеясь, что пьеса объяснит ему что-то важное об этой жизни, растолкует, что собой представляет окружающий мир, но его надежды оказались напрасными. Пьеса была начисто лишена какого-либо смысла. Когда в зале снова вспыхнул свет, публика зааплодировала. Мать вышла поклониться публике раз, другой, третий, потом все актеры выстроились на сцене и, взявшись за руки, тоже принялись кланяться. Затем занавес опустился, и зрители стали расходиться. Джон-Грейди долго сидел в пустом зале, потом надел шляпу и вышел на холодную улицу.

Содержание

КОНИ, КОНИ..	
<i>Перевод С. Белова под ред. В. Бошняка</i>	5
ЗА ЧЕРТОЙ	
<i>Перевод В. Бошняка</i>	305
СОДОМ И ГОМОРРА, ИЛИ ГОРОДА ОКРЕСТНОСТИ СЕЙ	
<i>Перевод В. Бошняка</i>	759
Примечания. <i>В. Бошняк</i>	1063